

МИШЕЛЬ ФУКО, ПОЛИТЭКОНОМИЯ И ЛИБЕРАЛИЗМ

(ВЕРСИЯ 05.06.07, ГОТОВИЛАСЬ
К ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ ANNALES)

Жан Ив Гренье и Андре Орлеан

ПРИМЕЧАНИЯ ПЕРЕВОДЧИКА

В оригинальном тексте употребляется много собственных терминов Мишеля Фуко. Некоторые из них здесь переданы иначе, чем в традиционных переводах, что связано с особенностями тематики — политической и экономической — данной статьи, в которой термины заиграли по-другому. В первую очередь это касается неологизма Фуко *gouvernementalité*: он переведен тоже неологизмом «управительственность». Переводчику кажется, что этот вариант более полно отражает значение, которое Фуко никогда не определял, но которое все же вытекает из контекста: *gouvernementalité* — нечто вроде «искусства (у)правления» или «ментальности (у)правления» (*gouverne + mentalité*), — но одновременно в нем слышится существительное, образованное от прилагательного *gouvernemental* (правительственный), которое в более общем значении переводится старым словом «управительственный». Традиционный перевод *gouvernementalité* как «управление» или «правление» решительно не годится, потому что «(у)правление» — это *gouvernement*, и именно в этом смысле он появляется здесь, часто в одной фразе с *gouvernementalité*. В тексте противопоставляются *gouverner* и *regner*, переведенные, соответственно, как «править/управлять» и «царствовать» (этимологически *regner* — от латинского *rex, regis* — царь). Фуко (и авторы статьи) часто употребляют другие, близкие по смыслу слова (*gestion, domination, administration, etc.*), выделяя в них особые вторичные значения. Переводчик старался передать это через русские синонимы, хотя, возможно, не всегда удачно.

Перевод термина *souverainité* оставлен в традиционном виде — «суверенитет». Этот вариант хотя и не целиком отражает все значения (кроме специфического «суверенитета», во французском это и «верховная власть», и «господство»), но «суверенитет» уже стал в русском «техниче-

ским термином Фуко». Термин *veridiction* («говорение истины») не переводился, он оставлен в русифицированной форме — «веридикция».

Словарный ряд *nature–naturel–naturalite* сложно перевести единообразно. Это и «природа–природный–природность (?)» и «естество (?)–естественный–естественность» и «натура (?)–натуральный–натуральность». Соответственно, термины из всех трех русских рядов употребляются для перевода одного вышеуказанного французского. О других сложностях перевода сигнализируется непосредственно в тексте — французское оригинальное слово дается в круглых скобках.

ВСТУПЛЕНИЕ

Период конца 70 — начала 80-х гг. было временем важных превращений в работе Мишеля Фуко. Проще говоря, интерес философа перешел с дисциплинарных диспозитивов на герменевтику субъекта и заботу о себе, от послушания (*assujettissement*) к осуществлению свободы. Однако между «Волей к знанию» (*La volonté au pouvoir*, 1976) и «Использованием удовольствий» (*L'usage des plaisirs*, 1984) Фуко не опубликовал ни одной книги. Поэтому именно его лекции в Коллеж де Франс становятся особенно важными для понимания этих превращений. В них Фуко сообщает нам о постоянном движении своей мысли, хотя не надо забывать, что он сам их текста не издавал и даже ясно указал в своем завещании, что не желает их посмертной публикации¹. Можно лишь гадать о причинах, но сам экспериментальный характер этих лекций точно входил в их число. «Безопасность, территория, население» (*Sécurité, territoire, population*, далее — STP) и «Рождение биополитики» (*La naissance de la biopolitique*, далее — NBP) составляли единый проект все тех же поисков себя самого, который порой приводил автора ко многим перепланировкам, к открытию многочисленных «фальшивых окон», т. е. противоречий, что и усложняет последовательное восприятие этой совокупности².

Задачей этих двух трудов было написать историю «управительственности» (*gouvernementalité*)³. Эта долгая и величественная генеалогия, на которой мы не будем задерживаться, стала поводом ввести некото-

1. Указывается у Гийома Лебланка и Жана Терреля (изд.), Guiallume Le Blanc et Jean Terrel (eds.). *Foucault au College de France: un itineraire*, Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux, coll. „Histoire des pensees“, 2003. С. 7.
2. Опираясь на эту идею, заметим, насколько название «Рождение биополитики» далеко от истинной темы курса — либеральной управительственности. Кажется, что по мере своих размышлений Мишель Фуко понял, что перед тем как рассматривать биополитику, необходимо провести предварительный анализ либерализма и это в результате трансформировало его проект. См. введение к лекции 7 марта 1979 г. (NBP, 191).
3. Мишель Фуко поясняет в своей лекции 1 февраля 1978 г.: «...Я хотел бы дать курсу этого года более точное название, и, конечно, это не «Безопасность, территория,

рые концепции, которые будут играть существенную роль в дальнейших рассуждениях: правление, поведение, свобода, пасторская власть. Интерес в отношении субъекта конструируется на наших глазах. Все начинается с классической проблемы Фуко — проблемы возникновения в середине XVIII в. нового типа власти и механизма контроля, основанных на том, что Фуко называл предохранительными диспозитивами (или «диспозитивы безопасности», *dispositifs de sécurité*). Далее автор несколько отклоняется от темы, и к первой цели прибавляется, а точнее, заменяет ее, другая — анализ экономического либерализма и его последствий в политике. Это соскальзывание с проблематики и то, как Фуко конструирует либерализм через политэкономия, и являются основными предметами исследования данной статьи.

ПОЛИТЭКОНОМИЯ И ЛИБЕРАЛИЗМ

В этих двух книгах Фуко размышляет о генеалогии понятия «(у)правление» (*gouvernement*). Самый интересный период, по его мнению, — вторая половина XVIII в., когда возникли предохранительные механизмы (*mécanismes de sécurité*), исторически следующие за юридически-правовым и дисциплинарным механизмом.

Чтобы понять, что такое предохранительный механизм, Фуко исследует политические шаги, которые предпринимались перед лицом неурожая. Великая трансформация середины XVIII в. состояла в том, что начиная с этого времени неурожай стал восприниматься как природное явление. Проводником Фуко служит либеральный экономист Луи-Поль Абей, который объясняет в своем «Письме одному негоцианту о природе торговли зерном» (1763), как следует анализировать неурожай. Нужно отринуть все моральные дисквалификации, потому что речь идет о естественном механизме. Больше не следует противодействовать скачкам от изобилия к скудости какими-либо постановлениями потому, что для того чтобы исчезнуть, феномен должен сначала иметь место. Только работой «в стихии этой реальности» можно ограничить неурожай и даже его уничтожить. Следовательно, речь идет о том, чтобы присоединить некий предохранительный диспозитив к реальности, даже благоприятствуя повышению цен (путем подавления попыток упорядочить все то, что связано с зерном), так как инфляция вызовет двойной эффект, привлекая товары извне и побуждая экстенсифицировать зерновые культуры. Именно в позволении явлению следовать своим курсом и проявляются механизмы автотормоза. Когда дисциплинарные механизмы определяют, что разрешить, и защищают разрешенное, предохранительные механизмы совершают шаг назад, чтобы захватить явления во время их разворачивания.

население», выбранное мной ранее. То, что я хотел бы сделать сейчас [...], я назвал бы „историей управительственности“».

Параллель, проведенная Фуко с вакцинацией от оспы, — движением, развившимся в те же годы, подразумевает общность этих механизмов. В случае с оспой точно так же речь идет не о том, чтобы помешать болезни, задействовав дисциплинарные системы и запретив любые контакты между больными и здоровыми, а, наоборот, чтобы спровоцировать болезнь и дать возможность людям развить в себе средства ее уничтожения. Главная идея — саморегуляция явлений путем заикливания причин и следствий.

Появление предохранительных механизмов порождает общую трансформацию, так как оно касается экономических, социальных и даже биологических аспектов жизни, однако интеллектуальным инструментом, санкционирующим это появление, является политэкономия, которая и сама возникает в качестве самопровозглашенной дисциплины в ту же эпоху. Фуко весьма настойчиво несколько раз указывает на то, что это изобретение является лишь трансформацией технологий власти, характерных для современных обществ. Тем не менее политэкономия в работе Фуко играет главную роль, не имея реальных конкурентов, потому что ее можно определить как науку о рациональном поведении (предоставление редких средств на альтернативные цели). Разве не все наше поведение рационально? (NBP, 272). Благодаря этому политэкономия становится не только архетипом предохранительного диспозитива, но и матрицей очень успешного анализа, не только ограничения, но и организации и распределения власти в западном обществе после эпохи Просвещения.

Эта центральная роль политэкономии, которую философ находит в самых разных формах — от меркантилизма до самого современного неолиберализма через политэкономия XVIII в., парадоксальным образом игнорировалась исследователями диптиха Фуко. Одно возможное толкование для объяснения невидимости этого всепроникающего присутствия таково: политэкономия появляется лишь для того, чтобы вскоре исчезнуть, потому что она сама по себе Фуко не интересует. Верно и то, что удивляет центральная роль, которая ей отдана. Почему Фуко обращается, и столь исключительным образом, к политэкономии? Вопрос тем более оправдан, что это обращение весьма неожиданно. В действительности Фуко концентрирует свое рассмотрение на истории экономической мысли, чтобы найти интеллектуальный инструмент трансформации мотивов управления (*raison gouvernementale*).

Политэкономия и управительственное самоограничение

Вопрос ограничения управительственного действия (*action gouvernementale*) занимал многие умы всю вторую половину XVIII в., тем более что это была эпоха расширения бюрократической деятельности, ставшей возможной благодаря развитию монархической администрации, чьи средства действия и сферы компетенции существенно уве-

личились. Впрочем, ее создатели, такие как Морпа, Трюден и Тюрго, часто были приверженцами либерализма. Токвиль, со своей стороны, объяснял Французскую революцию как следствие роста административной централизации. Все более и более автономное и мстительное общественное мнение критиковало эту управительственную деятельность и, чтобы ее ограничить, охотно идентифицировало ее как проявление абсолютизма.

И хотя экономическое измерение не было чуждо этим спорам эпохи Просвещения, их центральным вопросом оставался политический либерализм. Однако он не интересовал Фуко, концентрировавшегося исключительно, и порой почти маниакально, на одном управительственном самоограничении. Но ведь с появлением политического либерализма власть находила только внешние принципы ограничения себя. Этот тип ограничения, внешний к управительственным интересам, которые изначально были религиозными, юридическими или политическими, не входит в проблематику рассматриваемых курсов лекций. «Внутреннее ограничение означает такое ограничение, оснований которому никто не ищет... со стороны чего-либо, например, имеющего отношение к естественным правам, предписанным от Бога всем людям, со стороны Священного писания, даже со стороны воли подданных (субъектов, *subjects*), которым позволено в какой-то конкретный момент войти в общество. Нет, это такое ограничение, основания которому надо искать не в той стороне, которая является внешней для правительства, но в той, которая внутренне присуща управительственной практике» (NBP, 13).

Кроме исключения из рассмотрения политики, есть еще одно важное последствие этого поиска управительственного самоограничения, и это — отдаление от права, которое проскальзывает везде в строках этих двух книг. Это отдаление происходит к прямой выгоде политэкономии, многократно упоминаемой как фигуры, противоречащей праву. Но последнее никак нельзя упрекнуть в том, что оно внешне по отношению к управительственным интересам, и еще меньше — в его слишком малой способности принудить власть уважать юридические правила или основания, ограничивающие ее поле деятельности. В одном позднем рассуждении (лекция от 28 марта 1979 г., т. е. в предпоследней главе), посвященном *homo oeconomicus* и «невидимой руке», Фуко противопоставляет юридический субъект, порожденный правовой теорией договора, субъекту интересов, выдуманному политэкономией. Он подчеркивает их различия в том пункте, который считает наиболее важным: в то время как от первого требуется, чтобы он отказался от некоторых прав ради защиты других, от второго никогда не требуется идти против своих интересов. Как показали янсенист Пьер Николь или Мандевиль в «Басне о пчелах», наоборот, для того чтобы экономика приносила благо, важно, чтобы каждый всегда преследовал свой собственный интерес, чтобы он его культивировал и каким-либо об-

разом интенсифицировал. «Рынок и договор функционируют в точности наперекор друг другу» (NBR, 279), — заключает Фуко. Эта примечательная разница является второй причиной, по которой политэкономия очаровывает: управительственное самоограничение, которое она оправдывает, ведет к абсолютной свободе каждого преследовать свои индивидуальные интересы.

Такая антиномическая конструкция ведет к превращению права и политэкономии в два совершенно не совместимых подхода к миру, а следствием является невозможность существования экономически-правовой науки, отсутствие которой и есть признак этой антиномии. Такая абсолютная гетерогенность политико-правового мира и мира экономики критически важна в диспозитиве Фуко, который настаивает на том, что в этом есть особый умысел: эта гетерогенность усиливает до неотразимости особое положение политэкономии, уникального рационального дискурса, способного заставить правительство само себя ограничивать.

Такое отдаление от права не проходит бесследно. Оно ведет, на самом деле, к исключению права собственности — понятия, совершенно отсутствующего в размышлениях Фуко. Причина очевидна: право собственности зависит от тех самых внешних ограничений, которые автора не интересуют. А ведь оно — одна из первых гарантий, которая давалась для защиты индивида от королевского произвола. Многие из тех, кто размышлял о суверенитете, начиная с конца XVI в. и, конечно же, с Жана Бодена, но также и теоретики абсолютной монархии первой половины XVII в., такие как Карден Лебре (Cardin le Bret), подвергают сомнению полномочия короля вводить новые налоги без согласия представителей народа во имя уважения неприкосновенности частной собственности. Но отсутствие этой последней у Фуко еще и парадоксально, учитывая тот факт, что либеральные авторы XVII в. помещали ее в самое сердце своего анализа, делая уважение права собственности центральным принципом и основанием *raison d'être* политэкономии.

Политэкономия, либерализм и натурализм

Проблему Фуко с этого момента можно сформулировать следующим образом: как можно создавать политэкономии, когда у нее отнято главное обоснование — частная собственность? Ответ заключается в обращении к всепроникающим понятиям «природа» и «натурализм». Если власть не вмешивается в поступки, то это потому, что они естественны, что придает им как автономию, так и рациональность.

Как исторически вырабатывается это понятие «природы» по мнению Фуко? Осознание естественности социальных и экономических феноменов восходит к большому разрыву 1580–1650-х гг. Тогда «появилась природа, которая больше не терпела никакого управления» (STR, 243). Данное базовое утверждение обозначает следующее: перед этой

трансформацией властитель переносил на землю божественный суверенитет (*souveraineté*). Фуко здесь ссылается на Фому Аквинского, для которого правление монарха никак не отличается от осуществления суверенитета: царствовать (*régner*) и управлять (*gouverner*) — две идентичные и неразделяемые вещи. Если такая преемственность и существует, то только потому, что правитель является частью «этого великого континуитета, идущего от Бога к отцу семейства, проходя через природу и пастырей». Именно этот континуитет и прервался где-то между концом XVI — серединой XVII вв., в самый момент основания классической *эпистемы*. Хронологическое совпадение с научной революцией явно не случайно. На самом деле, Коперник, Кеплер и Галилей показали, что Бог правит миром через общие законы, которые, раз установленные, не меняются. Бог, следовательно, не управляет миром как пастырь, т. е. как-то индивидуализировано, он суверенно правит через основания, принципы.

В ту же эпоху развивалась еще одна тема, весьма отличная, но тесно связанная с предыдущей, так как в ней она имела нечто вроде следствия в политическом плане. Если монарх не может больше (или только) переносить божественный суверенитет на землю, то у него появляется специфическая задача, которую может выполнить только он и которая отлична от функций, предписанных как верховной власти, так и пасторату, хотя он может черпать в них вдохновение: он должен управлять (*gouverner*). В этом новом диспозитиве мы имеем дело, с одной стороны, с природой, которая отделена от темы управления и которая следует своим принципам (*principia naturae*), а с другой стороны, с искусством управления, которое должно было заняться этим новым объектом, появившимся в конце XVI в., *res publica*, общественным делом. Это искусство управления должно было найти себе обоснование, не ссылающееся ни на подражание природе, ни на божественные законы. Этим основанием стали интересы государства, целью которых было поддерживать государство и распоряжаться им в своем повседневном функционировании. И первой характерной чертой этих интересов государства, по отношению к исследовательским задачам Фуко, было то, что они не относились к народонаселению как раньше, т. е. теперь оно представляло собой экономических субъектов, способных на автономное поведение. Эта оппозиция между *principia naturae* и *ratio status* доминировала вплоть до середины XVIII в., когда произошло некоторое их слияние при посредстве политэкономии. Отныне управление миром опиралось на совсем юную политэкономия, которая сменила природу.

Один из парадоксов текста Фуко кроется в том сближении, которое он предполагает у политэкономии и природы. Традиционная история политэкономии объясняет, что именно открытие естественного порядка в физическом мире и подсказало экономистам эпохи Просвещения, что такой же порядок может править в социальном мире,

давая политэкономии право провозгласить себя наукой, по крайней мере, начиная с физиократов, и открывать свои законы. Этот аспект не интересует Фуко, в стороне оставляющего научную аргументацию, к которой прибегала политэкономия в 1760-х гг., чтобы оправдать либерализм и в особенности ту идею, что свободный рынок является наиболее эффективной и наиболее справедливой организацией производства и распределения богатств. Если экономика является частью природы, говорит он, только потому, что поведение индивидов было описано экономистами как зависящее от природы. Благодаря открытию понятия «народонаселение» (*population*) был установлен принцип самоограничения управительственного действия. Этот политический персонаж «абсолютно новый» и совершенно чуждый юридической и политической мысли предыдущих столетий. Фуко противопоставляет идее паноптикума, старой мечты властителя, которая нацелена на тотальное и индивидуализированное наблюдение над людьми, предохранительный диспозитив, интересующийся только естественными механизмами.

Народонаселение фундаментальным образом характеризуется закономерностями, которые можно квалифицировать как естественные. Они бывают двух видов. Во-первых, как это с восхищением обнаружили статистики XVIII в., существуют константы — постоянные или вероятные пропорции в переменных, характеризующих население (количество смертей, количество больных, закономерности несчастных случаев и др.). Во-вторых, существует поведенческий инвариант, который придает народонаселению, взятому в совокупности, единую движущую силу, желание или, говоря языком экономики, стремление преследовать индивидуальные интересы, которые, если этому не мешать, производит общий интерес всего населения.

Этот анализ приводит к двум различным способам ответа на вмешательство правительства, и оба одинаково представлены в самом сердце либеральной мысли. С точки зрения первого народонаселение непроницаемо для властителя, потому что, с одной стороны, переменные, которыми оно определяется, слишком многочисленны и автономны для того, чтобы быть доступными, а с другой — каждый индивид способен понять свои желания и интересы, как и то, какие средства необходимо применить, чтобы эти желания осуществить. И в этом никакая власть не заменит индивида. Впрочем, вмешательство в это особенное поведение производит ситуации чрезмерной сложности для того, чтобы их можно было осознать. Они, следовательно, недостижимы для управительственного понимания. Эта тема часто поднимается во второй половине XVIII в., особенно во время дискуссий вокруг свободы торговли зерном. В XX в. наиболее систематически эту концепцию развивал Ф. Хайек. Согласно второй точке зрения само существование закономерностей делает поведение населения частично предсказуемым и достигаемым для техник управле-

ния. Некоторые из констант и постоянных пропорций можно вычислить, а интерес, поскольку он укрощает страсти, как подчеркивало большинство авторов XVIII в., — гарантия того, что индивиды будут, по крайней мере частично, постигаемы властью. Эта двойственность диагноза присутствует и у Мишеля Фуко, когда он размышляет о вмешательстве правительства и его пределах.

Пока что следует настоять на оригинальности понятия «народонаселение», которое Фуко развивает в первой части своего лекционного курса. Конечно, все идет от политэкономии, потому что она является наукой о руководстве (*gestion*) населением, т. е. интеллектуальной моделью, на основе которой и следует осмыслять управление. Но не управительственность, которая вдохновляется гораздо более общим призыванием, чем «чистая и простая экономическая доктрина», потому что она направлена на множество аспектов, тем или иным образом связанных с экономическими процессами. Фуко воспринимает ее очень широко, так как эти процессы заключают в себе не только демографию и здравоохранение, но и «способ поведения» (*manière de se comporter*) (СТР, 24), т. е. все, что исходит от природы и природных феноменов. «Народонаселение, следовательно, это есть все, что простирается от принадлежности к биологическому виду как корневой, до выборки чистой публики на поверхности» (СТР, 77). Это позволяет Фуко заключить, что политэкономия, и в более широком смысле либерализм, есть натурализм. Хотя либерализм исторически порожден прогрессирующим ограничением страстей и интересом к одному только экономическому измерению жизни, т. е. к преследованию прибыли и приобретению материальных благ, Фуко движется в обратном направлении благодаря понятию «народонаселение», делая из знания политэкономии модель расширенной управительственности. И на этой стадии следствием является исключение политического.

Подчеркнем, что это открытие авторов XVIII в., перепроценное и интерпретированное Фуко, важности и естественности социальных феноменов ведет к анализу в двух очень разных направлениях. Первое направление настаивает на понятии биовласти, осуществляемой государством над народонаселением. Это продолжение, но с радикальной точки зрения, проекта Фуко по изучению контроля над индивидами, осуществляющегося с особым упором на тело в его биологическом измерении, направление, которое существует начиная с 90-х гг. и ссылается на наследие философа. Другое направление, напротив, ориентируется на либерализм невмешательства, находящего в себе самом и в автономии народонаселения причины лишь для слабого вмешательства. Оба проекта, без сомнения, интересовали Фуко, как это доказывают, порой лишь через намеки, его первые лекции. Но в этих двух курсах ясно демонстрируется больший интерес ко второму проекту и к исследованию эвристических последствий политэкономии, которые явным образом ставят ее в затруднительное положение.

Однако о какой политэкономии идет речь? Фуко очень ясно объединяет политэкономия и слабое управление — две вещи, немислимые друг без друга (NBP, 31). Именно поэтому он фокусируется на середине XVIII в., а более точно, на десятилетия либеральных эдиктов (1754–1764), времени большого изменения техник власти и появления современного управительственного интереса (*raison gouvernementale*). Когда он говорит об «экономическом знании», которое служит моделью управительственности, то ссылается только на один ограниченный корпус текстов. Это заставляет его игнорировать или скрывать другие формы этого знания. Именно таким образом он старается понять рациональность, присущую системе управления зерном (STP, 35). Он обостряет оппозицию между предохранительными диспозитивами, т. е. либеральной политэкономией, опирающейся на реальность вещей, и другими формами организации социального. «Безопасность, в отличие от закона, который работает в воображаемом мире, и от дисциплины, которая работает в дополнении к реальности, старается работать в самой реальности, заставляя играть [...] элементы реальности, одни по отношению к другим» (STP, 49). Фуко настаивает на этом аспекте либерализма, который действует на объективируемые природные феномены, отталкиваясь от реальности вещей в процессе их производства. Следовательно, оппозиция слаба, так как механизм возникновения неурожая, на котором он основывает свои выводы, а в более широком смысле экономика, являются следствием работы воображаемого. Это показывает Неккер, которого Фуко никогда не цитирует в «Законах о торговле зерном» (*Legislation sur le commerce des grains, 1775*) и который подчеркивает, насколько функционирование рынка связано с коллективной психологией, расстраивающей планы введения закономерностей и исключаяющей установление «истинных цен» на товары.

В результате, когда Фуко говорит в общем об «экономическом знании», он жестко фокусируется на своей политэкономии, удерживая внимание лишь на том, что имеет отношение к конструированию и принятию идеи народонаселения.

Умеренное управление

Теперь мы понимаем, что главная роль принадлежит паре народонаселение (естественное) — управление (искусственное). Когда Фуко заявляет, что он в основном размышляет об истории управительственности, в конечном счете его больше всего интересует вопрос о народонаселении, т. е. об автономии общества. Сложность состоит в том, что общее определение, предложенное для управительственности, ничего не говорит о его значении. Прежде всего зачем вмешиваться? Даже если самоограничение точно определяет природу либерального управления, и Фуко настаивает на необходимости «умеренного управления», все равно необходимо вмешательство. Почему?

Первая причина состоит в том, что интересы индивида в рамках народонаселения противоречивы, даже разнонаправлены. Либеральное искусство управления также сталкивается с трудностями при попытке точно определить, до каких пор это расхождение не представляет угрозы общему интересу. Следует гарантировать вместе и свободу и безопасность, что неминуемо предполагает частичную опасность и риск самой свободе, но равным образом и защиту коллективных интересов от индивидуальных (и наоборот). Вторая причина состоит в том, что предохранительные механизмы безопасности, будучи оптовыми «потребителями» свобод ради своего функционирования, должны быть одновременно и «производителями». Этот парадокс, который подчеркивает Фуко, присущ всему либерализму, но усугубляется в случае самоограниченного либерализма. Так, чтобы привести простой пример, свободный рынок нуждается в том, чтобы не было монополий, что предполагает законы, реально ограничивающие свободу действий участников. Следовательно, арбитраж между свободой и безопасностью должен вестись постоянно. Важным следствием либерального искусства управления, понимаемого таким образом, является необходимость в огромном количестве процедур контроля в противовес свободам. В первую очередь управление должно надзирать за общей механикой поведения, но затем, когда этот надзор выявляет какие-либо дисфункции, оно должно вмешиваться. Здесь фигура Бентама, возвышающаяся в «Надзирать и наказывать», появляется вновь, и паноптикум кажется формулой и либерального управления. Это новое искусство управления, которое подразумевает, что либерализм сложным, если не сказать двусмысленным, образом, связан со свободами, так как он должен их производить, но в процессе производства рискует их разрушить. И, если Фуко хорошо видит, что один лишь либерализм не определяет всю практику управления, он не дает никаких зацепок для того, чтобы набросать эскиз точного определения «благого вмешательства». Он много раз подчеркивает: единственное направление, в котором может развиваться рассуждение, — это путь утилитаризма, который по своей сути является не идеологией организации общества, но техникой (ограничения) управления. При утилитаризме расчет становится единственным интересом управления (*raison gouvernementale*). «Интерес управления должен соблюдать эти ограничения в том смысле, что он должен рассчитывать свои главные функциональные цели и наилучший способ их достижения». (NBP, 13). Эта рациональность управления (или, лучше сказать, гиперрациональность, учитывая исключительное значение, которое придается расчету) важна, так как она превращает управление практически в прямое следствие естественных феноменов. Она сильно интересует Фуко, который датирует ее возникновение XVIII в., находя следы, например, в морском праве или в проектах вечного мира, и именно этой идее «искусства управле-

ния по-рациональному» он посвящает последнюю лекцию 4 апреля 1979 г. Эти исторические примеры, однако, оказываются менее удовлетворительны, так как они на самом деле иллюстрируют идеи натурализма и естественного порядка. Напротив, отсылка к утилитаризму и расчету ничего не говорит о тяжелом арбитраже между свободой и безопасностью, центральной проблеме либеральной управленческой ответственности, которая ведет автора к таким парадоксальным утверждениям, как это изумляющее обращение к паноптической фигуре Бен-тама в самом сердце предохранительных диспозитивов безопасности, тогда как введение последних в самой книге, наоборот, удаляет его от них. Разрешение этих сложностей отсылает к вопросу, уже поднимавшемуся выше: как определить границы управленческого вмешательства, т. е. как гарантировать автономию народонаселения, уже лишенного защиты в терминах права?

Именно для того, в числе прочего, чтобы разрешить эту сложность, Фуко обращается, начиная с лекции 31 января 1979 г., к немецкому ордолиберализму 1930–1950-х гг. и американскому послевоенному неолиберализму. Эти две политэкономии предлагали одно достаточно радикальное решение вопроса о вмешательстве, видоизменяя изначальные гипотезы, от которых отталкивался Фуко. Они, в частности, постулировали стихийное схождение интересов там, где предохранительные диспозитивы безопасности учитывают их возможное противоречие.

В Германии 1948 г. более чем где-либо еще в Европе ощущалась необходимость в реконструкции, и, следовательно, в разных видах политики вмешательства, особенно кейнсианских. Однако в апреле 1948 г. отчет Совета по науке и администрации Германии в англо-американской зоне рекомендовал, чтобы «управление экономическими процессами осуществлялась настолько широко, насколько возможно, через ценовые механизмы», в чем видно большое сходство с рекомендацией, которую дал Тюрго в знаменитом эдикте сентября 1774 г., устанавливающем свободную торговлю зерном. Это определение либерализма — дело рук советников Людвиг Эрхарда, ответственного за эту администрацию и основывавшего на этом отчете свою линию поведения. Именно эти экономисты-советники и составляли группу ордолибералов, ведущих свое происхождение еще от Веймарской республики. Согласно им, свободное искусство управления начиная с конца XIX в. как будто опасалось своих собственных достижений и изобрело технику вмешательства в государственное руководство экономическими явлениями, чтобы ограничить сами последствия либерализма. Их главный «теоретический переворот», прекрасно объясненный такими мыслителями, как Хайек или Рёнке, состоял в том, что они считали нацистскую систему не следствием крайнего кризиса, но его логическим продолжением, конечной точкой эволюции политического вмешательства кейнсианского типа. Урок, который вынесли ордолибералы из опыта нациз-

ма, следовательно, состоял в том, что вместо того чтобы принять свободный рынок, надзираемый и ограничиваемый государством, нужно напротив, генерализировать логику рынка и сделать так, чтобы она была регулятором государства. Тут проявляется разрыв с либерализмом *laissez-faire* XVIII и XIX вв., так как речь идет не только о том, чтобы оставить экономику свободной, но и о том, чтобы распространить логику конкуренции и рынка дальше. Но ведь верить в то, что установления свободного рынка достаточно для генерализации механизмов конкуренции, было бы «натуралистической наивностью». Для того чтобы эти механизмы стали действительно центральными в обществе, нужно чтобы либеральное правительство было активным и интервенционалистским. «Конкуренция, таким образом, есть историческая цель искусства управления, а не какая-то данность от природы, которую нужно соблюдать и охранять» (NBP, 124). Исходя из этого вмешательства публичных властей должны касаться одних лишь условий существования рынка, они должны помогать тому, чтобы этот хрупкий и очень эффективный механизм функционировал полностью. Любая другая цель (полная занятость, покупательская способность, платежный баланс) должны оставаться вторичными. Точно так же правительство не должно постфактум корректировать разрушительные последствия рыночных действий в обществе. Оно должно вмешиваться в само общество, чтобы конкурентные механизмы каждый раз снова играли свою регулирующую роль.

Это новаторское рассуждение ведет, согласно Фуко, к изобретению другого типа капитализма, предпринимательского капитализма, в рамках которого каждый экономический агент или каждое хозяйство приравнивается к предприятию, одновременно автономному и ответственному настолько, что индивида больше нельзя отчуждать от его среды обитания и его работы. Эта обобщенная форма «предприятия» отличает ордолиберализм от классического *laissez-faire*, для которого *homo oeconomicus* был в основном партнером по обмену. Она, безусловно, нацелена на то, чтобы сделать экономическое регулирование моделью для социальных отношений, но и на то, чтобы поставить в центр социальной жизни всю совокупность ценностей, связанных с предприятием (независимость индивида, этическая ответственность...), противопоставляя ее холодному механизму конкуренции, этому, по выражению Рёпке, «морально и социологически принципу, скорее разлагающему, чем объединяющему». Интервенционализм правительства не должен, таким образом, касаться экономики, а только социальной жизни. Государство проводит *Gesellschaftspolitik*, чтобы дать сыграть хрупким конкурентным механизмам рынка. Эта «политика общества» способствует и установлению рынка, благоприятствуя, например, доступу к собственности или помогая заменить личные гарантии коллективным социальным обеспечением. В этом либеральном обществе, где конкуренция сталкивает друг с другом не участников об-

мена, а предприятия, закон не должен быть чем-либо еще, кроме простого набора правил игры рынка.

Экономика, таким образом, становится эталоном конструирования для политики — экономика производит легитимность, необходимую государству, а свобода между экономическими партнерами создает политический консенсус, — но также и для социальных связей, т. е. культурных ценностей. Под этим углом зрения и с другими независимыми переменными логическим продолжением немецкого ордолиберализма становится американский неолиберализм, а точнее Чикагская школа, которая развивалась в ответ на Новый курс и социальные программы, проводимые в США от Трумэна до Джонсона. Несмотря на важные отличия, связанные с гораздо более значительной радикальностью американского течения, точки соприкосновения с немецкой традицией многочисленны, и самая выдающаяся из них — то, что обе школы полагают, что анализ в терминах рыночной экономики можно перевести на все аспекты человеческого поведения, а индивид сам по себе при этом считается предпринимателем. Эти экономисты, такие как Гэри Беккер и адепты теории человеческого капитала, т. е. понятия, которому Фуко уделял очень пристальное внимание, распространяли анализ в терминах рыночной экономики на множество сфер общественной жизни. Каждый агент, например, сам решает, делать ли ему инвестиции в образование своих детей, чтобы сформировать человеческий капитал, призванный позже приносить доход, или же он делает выбор между прибылью, получаемой с преступного поведения и рисками навлечь на себя карательные санкции.

Этот генерализованный экономический подход неолибералов больше всего интересен тем, что позволяет контролировать правительственные действия и подвергать их испытанию количественной критики. Теперь можно измерить действия правительства мерой их эффективности, касающейся применения игры конкуренции и рынка. Большой аналитический прогресс по сравнению с либерализмом *laissez-faire* XVIII в. состоит в том, что экономика, вместо того чтобы оставаться просто моделью или иллюстрацией более общей управительственности, становится управительственностью по преимуществу. Сразу возможно дать определение и присвоить более точное значение правительственному вмешательству: оно должно создавать условия для функционирования экономики рынка и конкуренции. Его пределы включены в само это определение, потому что описание общества как пространства для свободной конкуренции и слияния интересов предполагает, что правительственное вмешательство заинтересовано только в условиях существования рынка, в его юридической среде, но не в его экономическом содержании или его социальных последствиях. Это, бесспорно, лучше всего определяет «умеренное управление», столь дорогое Фуко, одновременно менее амбициозное и более дистанцированное от общества. Ордолиберализм и неолибе-

рализм в каком-то смысле подновили концепцию народонаселения, но сделали ее более радикальной, назначив публичным властям в качестве цели обеспечение таких условий в обществе, которые гарантируют его автономию и делают так, чтобы им было (почти) не во что вмешиваться.

Практики и режим veridiction

Для того чтобы написать историю либеральной управительственности, как Фуко много раз говорил, он хотел отталкиваться не от универсальной политической философии (субъекты, государство, гражданское общество...), но от конкретных практик и от того, как они отражаются и рационализируются, согласно методу, уже опробованному незадолго до этого в «Надзирать и наказывать». Этот проект был частично реализован на первом этапе, посвященном XVIII в., благодаря, кроме прочего, практикам, свидетельство существования которых он находит в утилитаристском либерализме. Но ему не удалось, как известно, включить то, что его интересовало, и то, чего не было в строгом смысле в том проекте политэкономии, на который он опирался: самоограничивающийся либерализм.

Переход от либерализма XVIII в. к либерализму XIX в., следовательно, помогает продвинуться в *теоретическом* разрешении центрального вопроса, поставленного в этих двух книгах, т. е. самоограничения управления, но это представляет проблему по отношению к *реальному*. На втором этапе, посвященном немецкому и американскому неолиберализму, действительно, видно исчезновение практик за счет разработки того, что является теоретической формой ограниченного управления, дискурсом, отвязанным от «способов делания» (*manières de faire*).

Фуко сделал еще одну попытку закрепить эту историю репрезентаций в истории реальности, обратившись к понятию режима «веридикции» (*veridiction*, буквально истинноговорения), которое является основным для его более общего проекта «истории систем мышления», касающегося тюрем, психиатрических институций и сексуальности. Говоря кратко, выстраивать историю режимов веридикции — это значит интересоваться эффектами, которыми обладают системы мышления, когда они верят, что то, что они указывают — истина. Фуко также напоминает: «Если вспомнить все ошибки, которые медики высказали по поводу сексуальности и безумия, то какой от этого толк [...] Важно только определение режима веридикции, которое им позволило [...] заявлять как истинные некоторые вещи, о которых сегодня известно, что они, быть может, и не таковы». Так, Фуко полагает, что начиная с середины XVIII в. благодаря различным техникам, разработанным, в частности, для того, чтобы справляться с неурожаями, свободный рынок находится на пути к тому, чтобы стать для современников «ме-

стом, которое я называю веридикцией» (NBP, 34). *Истина*, выражаемая рынком, который был освобожден, согласно политэкономии, заменяет серию неопределенных управительственных вмешательств, предпочитаемых меркантилизмом. Фуко чудесно играет на семантической неоднозначности, потому что экономисты той эпохи использовали именно выражение «истинные цены» для обозначения цен на товары, определенных свободным рынком, которые считали истинными потому, что они оценивали индивидуальное поведение, но также и правительственные практики, подчиненные общим целям, заключавшиеся в сохранении народонаселения во время неурожая или, в более широком смысле, в производстве богатства.

Понятно, насколько важны для Фуко эти идеи, так как, с одной стороны, истина рынка была одним из самых мощных аргументов в пользу самоограничения управительственных практик, а с другой — принцип режима веридикции наделял политэкономия эффективность и инструментом воздействия на ход вещей. Но так ли хорошо применим этот принцип в политэкономии, как это думал Фуко? В этом можно усомниться. Если без сопротивления можно принять, что либеральная политэкономия влияла на экономическую политику и организацию рынка, труднее признать, что последствия такой политики можно измерить по результатам, наблюдаемым на рынке. Здесь есть существенное отличие, например, от психиатрии. Психиатрический дискурс, так как он нормативен, прибегает к критериям *истинности* для того, чтобы определить принадлежность к безумию и нормальности или к принятым и девиантным сексуальным практикам, исходя из прямых рассматриваемых последствий для социальной жизни. Но политэкономия, если она может предписывать либеральную политику, не способна контролировать последствия. Чем является «истинная цена», как не абстракцией, которая не имеет значения нигде, кроме как в рамках подхода в терминах равновесия рынка, но этой абстракции трудно даже — хотя некоторые экономисты это пытаются сделать — придать эмпирическое содержание, так что же говорить о ее использовании для индексации и ограничения управительственной политики? Утверждение, что рынок является абстрактным принципом веридикции, отвечает амбициям либеральной теории; но то, что рынок производит показатели, выражающие истину, способную сделать из него инстанцию по веридикции и, следовательно, по ограничению управительственных практик, это уже чересчур. Нельзя сказать, какова точка зрения Фуко на экономическую теорию и насколько он ей верит, но он воспринимает всерьез ее последствия, и в этом смысле он плохо улавливает особенность экономического дискурса, который имеет не столь сложную связь с реальностью как когда-либо, так и сегодня. Он даже включает в свои размышления либеральную критику суверенитета, и столь же несдержанно, и делает это потому, что она и раньше играла важную роль в его рассуждениях.

СУВЕРЕНИТЕТ

Действительно, критика суверенитета находится в самом центре анализа, который Фуко долгое время посвящал вопросу власти. Его целью было сконструировать рассуждение о доминировании, радикально свободное от модели суверенитета. Он объясняет это много раз и, в частности, в «Нужно защищать общество» (*Il faut défendre la société*, далее — IFDLS), и на лекциях 14 и 21 января 1976 г., которые эксплицитно представлены как «род прощания с теорией суверенитета» (IFDLS, 37):

Вопрос для меня, следовательно, в том, как обогнуть и избежать этой проблемы [...] суверенитета и подчинения (*obeissance*) индивидов, оказавшихся под этим суверенитетом, и поставить на место суверенитета и подчинения проблему доминирования и послушания (*assujettissement*) (IFDLS, 1976, 24/25).

Но что такое суверенитет в глазах Фуко? В основном это юридический вопрос, т. е. вопрос прав: с одной стороны, прав, которые субъекты уступили, от которых они отказались, с другой — прав, которые заполучил суверен, именем которых он и осуществляет свою власть. Много раз Фуко настаивал на этом юридическом измерении, основополагающем для него в модели суверенитета: эта модель касается «власти в юридической форме» (*La Volonté de Savoir*, 112). Субординация, в юридическом смысле, которую Фуко в IFDLS называет подчинением (*obeissance*) в противоположность послушанию (*assujettissement*), предполагает, что часть подданных соглашается с притязаниями властей на свою легитимность. Из этого возникает власть очень слабо интрузивная, которая принимает подданных такими, какие они есть, власть, которая не роется в их сознании и не исправляет их души. Эта власть воздействует от случая к случаю в основном на богатства и блага, используя какую-либо систему периодических изъятий, примером которой является налоговая система. Но Фуко интересуется властью другой природы, властью дисциплинарная, которая действует не через временные изъятия, но через тесную и непрерывную сеть, направленную на присвоение труда и на производства постоянного повиновения, а также через системы наказания и надзора. Этот способ функционирования радикально чужд власти суверена⁴. В то время как последняя

4. Гетерогенность этих двух властей будет видна еще сильнее, если вспомнить, что касательно дисциплинарной власти Фуко писал: «Это власть не суверенная, она чужда форме суверенитета, это власть дисциплинарная. Власть неописуемая, неоправдываемая в терминах теории суверенитета, радикально чуждая и даже способная привести к исчезновению этого великого юридического здания теории суверенитета» (IFDLS, 33).

ставит в самый центр славу властителя, первая интересуется производством подданных. Более того, отказ от рассмотрения юридического выдает навязчивое стремление Фуко понять власть в ее реальности, не с точки зрения легитимности, приложимой к ее действиям, а ее эффективности в деле трансформирования подданных, вплоть до контактирования с их телами. «Следует изучать власть вне модели Левиафана, вне поля, разграниченного на юридический суверенитет и институцию государства. Речь идет об анализе, отталкиваемом от техник и тактик доминирования» (IFDLS, 30).

Как показано в первой части, интенсивность этой критики юридической модели возрастает, когда Фуко приступает к исследованию предохрнительных диспозитивов. Мы видим, как он подчеркивает дистанцию, существующую между логикой, присущей этим диспозитивам, и логикой юридической, между рынком и договором. Это приводит его к предположению о гетерогенности договора и рынка, которая дезориентировала либеральных экономистов (NBP, 278). Но в рассмотрении экономической сферы Фуко движется совершенно по-другому, доходя до утверждений того, что *homo oeconomicus* никогда ничего не уступит. Он, якобы, продолжает каждый момент оставаться целиком предан своим интересам, которые ведут его от места к месту: «каждый не только может следовать своим интересам [...] но нужно, чтобы каждый [...] им следовал, вплоть до того, как он найдет средство для их максимальной реализации» (NBP, 279). Эта обновленная критика юридического приводит не к тотальному исчезновению суверенитета, но к анализу того пространства, где он играет лишь периферическую роль, становясь чем-то вроде фона, уже не вызывающего интереса исследователя. Даже если Фуко пишет: «Проблема суверенитета не снята, напротив, она остается как нельзя более острой» (STR, 110), в реальности его размышлений, и этого нельзя не признать, от нее ничего не остается. Теперь суверенитет появляется лишь как диспозитив на буксире у правления, целиком призванный ему служить: «учитывая, что искусство правления существует, учитывая, что оно развивается [речь идет о том], чтобы увидеть, какую юридическую форму, какую институциональную форму и на какой правовой основе можно будет придать суверенитету» (STR, 110). Вот и все, что мы можем сказать об этом.

Экономического суверена не существует

Однако в NBP Фуко идет дальше. Во время этого лекционного курса он переходит на другой этап, в некотором смысле конечный, своего отрицания суверенитета. Он делает это на основе тезиса, частично вдохновленного мыслью Фридриха Хайека: «Рыночная экономика ускользает от любого обобщающего понимания». Конечно, говорит нам Хайек, можно объяснить абстрактные принципы конкурентного функционирования, но частные факты или практические условия той или иной

экономической конъюнктуры от нас ускользают безвозвратно потому, что рыночная экономика — это комплексная система. Она — результат бесконечного числа локальных приспособлений, которые невозможно охватить умом, потому что полное описание самого простого экономического состояния должно принимать во внимание миллионы взаимодействий, предполагая обращение к информации настолько обширной, что человеческий мозг не может ее воспринять. По этой причине экономический мир непрозрачен. «Он по своей природе необобщаем» (NBP, 285). Следовательно, государство не располагает когнитивными средствами, чтобы вмешиваться эффективно. Его вмешательство опирается в сложность рыночной экономики. Из этого следует радикальная дисквалификация способности суверена управлять экономическими процессами, и не потому, что он не имеет на это права, но потому, что он этого не может: «ты не можешь [действовать], потому что не знаешь, и не знаешь потому, что не можешь знать» (NBP, 286).

В сущности, ориентиром здесь служит модель стихийного, или каталектического, порядка. Она позволяет Фуко считать конкурентный механизм чем-то фундаментально аллергичным любому вмешательству извне в строго изолированную сферу частных интересов. Рыночная вселенная слишком сложна для того, чтобы быть мишенью каких-либо обдуманных действий. Государственные действия не только не нужны для функционирования конкурентного регулирования, более того, эти действия по своей фундаментальной природе только сбивают регулирование. Фуко завершает свой анализ весьма суровым заключением по поводу бесполезности экономического суверена: «экономика — это дисциплина без тотальности; экономика — это дисциплина, которая начинает демонстрировать не только бесполезность, но и невозможность обращения с ней с позиции суверена, с точки зрения суверена на тотальность государства, которым он управляет» (NBP, 287). Он заключает, что не существует «экономического суверена» (NBP, 287). Это проклятие внешнему и преступающему границы не ограничивается одними государственными действиями. Оно также направлено против всех акторов, которые теряют из виду личные интересы, чтобы приписать своим действиям коллективную цель. В первую очередь важно, чтобы каждый исполнял свою роль и строго ее придерживался, т. е. «максимально преследовал свои интересы». Если появляются какие-то акторы, покидающие эту линию поведения и заинтересованные в общем благе, это может быть источником одних лишь отклонений. Весь этот анализ приводит к парадоксальной идее, что в экономике всегда нужно отдавать предпочтение «близорукости» (NBP, 284/5), следуя Мандевилю. «Неясность, слепота абсолютно необходимы для всех экономических агентов» (NBP, 283). И так как государство претендует на «дальнозоркость», то, что оно видит, это «химеры».

Этот анализ по поводу взгляда и видимости — один из самых своеобразных у Фуко. Нельзя не заметить, если обратиться к размышлени-

ям Фуко по поводу паноптикума, что там мы видим совершенно противоположную фигуру. Неолиберальная экономика описывает мир индивидов, не только близоруких и воспринимающих других лишь через то, что им может сообщить цена, но и свободных от какого-либо надзора центра, который может их наказать. С одной стороны, мы видим власть, которая контролирует все, потому что она все видит и все знает, с другой — власть чрезвычайно ограниченную, потому что она ничего не видит и ничего не знает. Нельзя представить себе более разительного контраста.

Деньги

Существует, однако, базовая рыночная реальность, в которую упирается эта либеральная концепция экономики без тотальности и которую ей не удастся интегрировать — денежные отношения⁵. Чтобы их понять, достаточно посмотреть на законодательные приспособления, которые окружают деньги. Их характер, нарушающий порядок конкуренции, бросается в глаза. Вспомним, с одной стороны, о монополии на эмиссию, которой обладает один особый институт, центральный банк, о привилегии выпускать монеты и, с другой стороны, о банковском курсе валют, который не дает рыночным акторам принимать последние в своих обменах. Монополии и ограничения, насколько они далеки от базовых либеральных ценностей, которыми являются конкуренция и свободный обмен! Если мы прибавим сюда многовековые связи, которые соединяют деньги и власть, то окажемся перед картиной, способной вызвать отвращение у любого приверженца стихийного порядка. Вместе с деньгами в дело снова входит идея «невидимой руки»: сумма рыночного порядка здесь принимает совершенно ясную и видимую форму, форму монетаристской политики. Также легко увидеть, что большая часть либеральных идей имеет целью «нейтрализовать» деньги. Нужно осознать те концептуальные рамки, которые принимает это столь противоречащее правилам конкуренции институциональное присутствие, но тут же и установить, что это присутствие не оказывает воздействия на экономические отношения: оно не модифицирует их конкурентную природу. Почему? Потому что деньги — это просто условность, как в языке, и они позволяют общаться, не вмешиваясь в содержимое посланий. Если денежная эмиссия увеличивается вдвое, то все цены делают то же самое, и, таким образом, ничто фундаментальное не затрагивается — ни показатели обмена товарами, ни уровень производства или занятости. Если сказать, что деньги нейтральны, это будет вполне точно. Или, по-друго-

5. Вспомним, что сам Хайек тоже сознавал это и настолько, что предложил план реформы, призванной ликвидировать центральные деньги, и заменить их конкурирующими частными средствами оплаты. См. Friedrich Hayek. Denationalisation of Money. London: Institute of Economic Affairs, 1976.

му: деньги — это чистый инструмент, имеющий целью облегчить торговые операции, не изменяя реального положения акторов⁶. Вспомним, кроме того, что самая отточенная формализация рыночной экономики — концепция Вальраса предлагает анализ рынков, в котором деньги вообще отсутствуют. Нельзя найти лучшего примера, иллюстрирующего это глубокое отчуждение, чужеродность денег либеральной концепции конкурентного порядка.

Фуко, внимательный читатель неолиберальных трудов, согласен с этим анализом. Ни деньги, ни золото не представлены в алфавитном указателе его книг. Но тесные связи, которые существуют между деньгами и суверенитетом, не ускользают от его внимания. Когда он воображает взаимодействие между экономическими акторами, то учитывает лишь тот мир, который основан только на рынках. Деньги там не являются ни вторичным элементом, ни нейтральным инструментом. Они — специфическая форма, которую принимает суверенитет в экономике. По этой причине и либеральную болезнь постигают именно через них. Однако сейчас нет нужды вступать в теоретическую дискуссию по этим вопросам⁷. То, что мы хотели показать: до какой степени исключительное использование Фуко тематик Хайека ведет его к ошибочному воззрению на ту роль, которую играет суверенитет в рыночной экономике. Анализ рождения ФРГ, который он предлагает в лекции 31 января 1979 г., будет удачным примером.

Если история возникновения ФРГ интересует Фуко настолько, что он посвящает ей почти целиком лекцию, то это потому, что она дает возможность поразмыслить об ограниченном опыте, — ни больше ни меньше, а учреждении сообщества за границами поля действия суверенитета. Не стоит слишком настаивать на теоретическом значении этого события. Нужно видеть в нем своего рода эмпирическое подтверждение тезисов, развитых ранее по поводу бесполезности суверенитета. ФРГ дает Фуко пример общества, основанного не на использовании исторических суверенных прав — последствий нацизма, если точнее, ведь немцы более не обладали такими правами — но на институционализации экономической свободы. Пример того, что Фуко резюмировал формулой: «легитимирующее основание государства на гарантированном пользовании экономической свободой» (NVP, 85). При от-

6. Приходит на память Шумпетер, который давно это выразил так: «Это означает, что деньги, на самом деле, — всего лишь простое техническое средство, которое можно игнорировать каждый раз, когда затронуты фундаментальные проблемы, или что деньги — это занавес, который должен быть поднят для того, чтобы обнажить скрытое за ним. Или, другими словами, это означает, что нет существенной теоретической разницы между экономикой обмена и денежной экономикой», в Joseph Schumpeter. *Histoire de l'analyse économique*. Т. II: *L'âge classique (1790 и 1870)*. Paris: Gallimard, 1983. P. 287–288.

7. По этому вопросу, см.: Michel Aglietta et Andre Orlean (eds.). *La monnaie souveraine*. Paris: Editions Odile Jacob, 1998.

существовании исторических прав и политической легитимности именно в освобождении цен и в социальном рыночном хозяйстве Людвига Эрхарда июня 1948 г. следует искать основания нового немецкого государства. Теоретический анализ, касающийся пределов суверенной власти, именно здесь находит свое образцовое выражение. Фуко сократил его до описания общества, которое можно назвать «интегральным экономическим», так как оно производило все вне суверенных ограничений, за счет одной свободы обменов.

Но представим себе — а это имплицитно сказано в тексте Людвига Эрхарда — институциональную модель, природа и происхождения которой не важны, институциональную модель X. Предположим, что у этой институциональной модели X есть функции, конечно, не реализовывать суверенитет, потому что при тогдашнем положении вещей юридическая сила принуждения не могла ничего основать, а просто обеспечивать свободу. Следовательно, не ограничивать, а только создавать пространство свободы, обеспечивать свободу и обеспечивать ее именно в экономической области. Предположим далее, что в этой институции X, функции которой не реализовывать суверенную власть, не ограничивать, а просто устанавливать пространство свободы, предположим, что в ней индивиды, некое их число, свободно принимаются играть в эту игру экономической свободы, которая им обеспечена этой институциональной моделью. Что произойдет? Та самая реализация свободы индивидов, которых не принуждают ей пользоваться, но просто дают свободу ей пользоваться, т. е. свободу пользования этой свободой? Что ж, будет согласие с этой моделью, будет согласие со всеми решениями, которые можно будет принять, которые будут приняты, но для чего? Для того чтобы обеспечить действительно эту экономическую свободу или чтобы обеспечить то, что делает возможным эту экономическую свободу. Другими словами, учреждение экономической свободы должно и может функционировать в любом случае, каким-то образом, как магнит, как наживка для образования политического суверенитета (NBP, 84).

Эту удивительную цитату следует читать внимательно. Фуко описывает основание совместной жизни, совершенно не отталкиваясь от акта суверена, который объединяет индивидов в пределах некоей области своей властью ограничивать, а основание ради установления экономической свободы. Фуко нам говорит, что именно добровольная реализация этой установленной свободы приведет членов общества к единению. Почему? Благодаря эффекту пользы в терминах экономического

благополучия, которую породит, как предполагается, конкурентная практика. Конечно, это коллективное единение и согласие примет политическую форму, но, по своим мотивам, у него не будет политической природы. Речь идет о другом — о добровольном согласии на игру свободы. Как покажет следующая часть, речь идет о том, чтобы помыслить гражданское общество, существующее совершенно автономно, без нужды в специализированном политическом приспособлении. Фуко настаивает на том, что эта специфическая и чисто политическая роль экономики с самого ее зарождения остается одной из фундаментальных черт современной Германии:

На самом деле, в современной Германии экономика, экономическое развитие, экономический рост производят суверенитет, производят политический суверенитет по установлению и по институциональной игре, которые позволяют точно функционировать этой экономике. Экономика производит легитимацию для государства, которое является ее гарантом. Другими словами, и это, безусловно, очень важный феномен, совершенно уникальным в истории образом и очень особым, по меньшей мере, для нашей эпохи, экономика создает публичное право... (NBP, 85–86).

«Экономика создает публичное право» (NBP, 86) — разве это не конечная формула либерализма? Или, если угодно, утверждение примата экономики над правом, управительственности над суверенитетом? Экономика производит политические знаки. Она одна оправдана. Другими словами, существование специфического политического приспособления, имеющего в качестве объекта определения территорию, а в качестве цели — обеспечение коллективного согласия граждан и в качестве средства — монополию на легитимное насилие, не является больше необходимым. Можно прекрасно обойтись и без ограничительной власти. Одна экономическая свобода производит достаточно мощные эффекты, чтобы обеспечить социальные связи и коллективное согласие акторов. Она произведет объединение гораздо лучше, чем политика, которая всегда имеет тенденцию разделять своих граждан. Она это сделает, создав нечто более конкретное, более мощное, чем юридическое обоснование: она сделает это, создав социальную связь, доверие, в форме консенсуса, «постоянного консенсуса всех тех, кто может выступать как агенты внутри этих экономических процессов. Агентов в виде инвесторов, агентов в виде рабочих, агентов в виде предпринимателей, агентов в виде профсоюзов. Все эти партнеры по экономике, в той степени, в какой они принимают экономическую игру свободы, производят консенсус, и это консенсус политический» (NBP, 85–86). Такова новая особенная формула западногерманского государства. Она позволяет нам помыслить государство без

суверена, «радикально экономическое государство» (NBR, 87), объединяющее инвесторов, рабочих, предпринимателей и профсоюзы. Наконец, это «великое юридическое здание теории суверенитета» (IFDLS, 33), исчезновение которого предсказывал Фуко, действительно исчезло, уступив место концепции чисто экономического государства. Здесь — крайняя точка пути, в ходе которого Фуко мало-помалу прекращает мыслить о суверене, чтобы не говорить больше ни о чем, кроме управления:

по мере того как я говорил о народонаселении, без конца появлялось одно слово, и это слово «суверенитет». Чем больше я говорил о народонаселении, тем больше я прекращал говорить «суверен»... и правда в том, что управление по сути своей гораздо больше, чем суверенитет, гораздо больше, чем царствование, гораздо больше чем *imperium* (SPT, 78).

Однако более подробное рассмотрение немецкой экономической ситуации в 1948–1949 гг. приводит к совершенно другому анализу.

В глазах Фуко именно либерализация цен 24 июня 1948 г. была важнейшим моментом для этого переоснования немецкого государства. Начиная с этого момента была запущена экономическая игра, которая и привела к позитивным последствиям. Этот анализ тем не менее вызывает множество вопросов, сперва исторических, но более всего теоретических. Странно, что при своем анализе немецкого обновления Фуко не упоминает того, что было первым и самым образцовым действием, т. е. монетарной реформы 20 июня 1948 г. Говоря простым языком, новые деньги, дойчмарки (DM) были созданы, а старые деньги, рейхсмарки, были отменены, а в воскресенье 20 июня 1948 г. было организовано начальное распределение, каждому по 40 DM. Эта забывчивость тем более странна, что все комментаторы единодушно подчеркивают: именно это начало сыграло чрезвычайно важную роль для реформы. По этому пункту эксперты сходятся во мнении. Именно поэтому 20 июня 1948 г. — это дата основания современной Германии, дата ее рождения. В самом деле, введение DM отмечает поворотный момент для будущей Федеральной республики, гораздо более важный, чем ее официальное признание в 1949 г. К тому же отметим, что первым институтом, который действовал во всех трех зонах западной оккупации, был Bank Deutscher Lander (BDL), будущий центральный банк. Другими словами, BDL — это первая форма институционального существования ФРГ. Его учреждение обогнало на 18 месяцев создание федерального правительства. И если анализ Фуко фокусируется на законе 24 июня 1948 г., то даже его название — «Закон о принципах управления и политики цен после денежной реформы» (Gesetz über Leitsätze und Preispolitik nach der Geldreform) — ясно указывает денежную реформу как на самое главное. Либерализация не имела смыс-

ла и не была бы эффективной, если бы не было этой денежной реформы. Именно подавление большой денежной массы сделало эффективной ценовую политику. Денежная реформа была нужна для того, чтобы цены вообще имели какой-то смысл. Однако Фуко об этом не говорит ни слова.

Но какое дело нам до денежной реформы 1948 г.? Вспомним, какова была первичная цель? Главную идею можно уловить уже в том, что на самом деле эта реформа не была следствием инициативы немецкой стороны, так как, по справедливому замечанию Фуко, начиная с мая 1945 г. не существовало ни немецкой администрации, ни *a fortiori*⁸ немецкого правительства. Речь идет о продуманной и осуществленной акции державы, доминировавшей в западном лагере, т. е. США, которая навязала ее своим британским и французским партнерам. Говоря иначе, денежная реформа была актом, поддержанным военной оккупационной державой. Ее цель была по своей природе политической: создать новое государство, позволяющее противостоять силе коммунистов. Здесь все проходит по ведомству чистого суверенитета. Все стороны-участницы, впрочем, вполне отдавали себе в этом отчет, и в первую очередь советская сторона, которой и нужно было противостоять. Ее протест опирался на положение Потсдамского договора августа 1945 г., где говорилось, что с Германией «следует обращаться как с единым экономическим образованием». Советские представители среагировали на монетарную инициативу, объявив о блокаде Берлина, конечной целью которой было помешать хождению дойчмарки в Берлине. Как мы видим, в центре денежный вопрос и его запутанные связи с вопросами суверенитета и территории. Отделить одно от другого невозможно. В то же время именно с немецкой денежной реформы начались и разделение Германии, и холодная война.

Ничто не иллюстрирует цели этой денежной реформы и ее природу лучше, чем вопрос о Берлине. Прекрасно сознавая, что СССР будет противиться этой реформе, которая приведет к разделу Германии с передачей автономии западным зонам, союзники в первое время оставили Берлин неохраняемым. Они надеялись тогда, что смогут достичь четырехстороннего договора, который позволит ввести денежную унификацию Берлина, подтвердит его особый статус и его сложное геополитическое положение. Таким образом, обмен банкнот от 20 июня 1948 г., в ходе которого каждый немец получил первую квоту в 40 DM, не затронул Берлина. Это ограничение не могло не встревожить западных берлинцев, которые, сплотившись вокруг Эрнста Рёйтера, потребовали включения Западного Берлина в западную экономическую систему, что значило и введение тех же денег: «Иметь деньги — это иметь власть»⁹.

8. Тем более (лат). — Прим. переводчика.

9. См.: Heinrich a. Winkler. Histoire de l'Allemagne XIX–XX siècle. Le long chemin vers l'Occident. Paris: Fayard, 2005. P. 575.

Советским ответом на денежную реформу был, с одной стороны, запрет хождения западногерманской дойчмарки по всей советской зоне, включая Большой Берлин, а с другой — создание новой конкурирующей валюты. Советская военная администрация объявила, что банкноты, распределяемые в западной зоне, не будут иметь ценности в зонах советской оккупации. В результате началась блокада Берлина. Кроме того, было объявлено о создании новой валюты в советской зоне. Тотчас западные представители отказались применять эти решения в своих секторах и в конечном счете согласились на введение новой валюты, обозначенной буквой В, чтобы отличить от DM. Но они же разрешили и хождение советских денег в своей зоне оккупации. Нельзя лучше выразить внутренние связи, скрепляющие деньги и суверенитет: первым полем битвы холодной войны стал денежный вопрос, так как он касался самого существования прозападной Германии. Кто выпускает банкноты — был не просто технический, а политический вопрос. Речь идет об определении, кто является сувереном.

Этот краткий анализ ясно показывает, что нельзя считать западногерманское государство радикально экономическим. Оно уходит корнями в интересы Соединенных Штатов, которые были тогда самыми главными, и в их политику «сдерживания» коммунизма. Вопрос умеренного управления, который находится в самом сердце NBP, здесь играл роль вторичную, если вообще играл какую-нибудь. Таким образом, Фуко, кажется, серьезно недооценил то, что касается наиболее классической политики суверенитета, т. е. суверенитета воюющих держав. Из того, что дойчмарка была результатом акта чистого суверенитета, можно вывести и то, что немцы в этом акте не принимали никакого участия. К ним обратились лишь для того, чтобы они осуществили меры по проведению этого решения в жизнь, в соответствии с конклавом Ротвесена, названного так по лагерю военнопленных Ротвесен близ Касселя (Гессен). Также, вопреки Фуко, следует считать, что и вся реформа 1948 г. имела перед собой политическую цель. Это видно еще яснее, если учесть важность последствий перераспределения, которые имела эта реформа вопреки идее денежного нейтралитета. Чтобы не входить в детали, скажем просто, что всё, что было накоплено в денежном виде, потеряло свою цену, в то время как реальное имущество (капитал, недвижимость, средства производства) ее сохранило. Хьюз называет это одной из самых великих конфискаций имущества за всю историю, сравнивая по масштабам с той, которая была произведена при насильственной коллективизации в СССР.

Так как Фуко придерживается концептуальных рамок, в которых деньги являются нейтральным инструментом обмена, он оставляет в тени важные политические разногласия, к которым привела денежная реформа в своей перераспределительной части. Также, вопреки предлагаемой картине, в которой экономические действия вызывают коллективное единение акторов (инвесторов, рабочих, предпринима-

телей, профсоюзов) по поводу выражения их интересов, ставших гармоничными благодаря силам конкуренции, денежная реформа вызвала весьма яростные споры и разногласия, сильно разделившие политический корпус Западной Германии. Реформа воспринималась как особенно несправедливая из-за того, что она не коснулась недвижимости, а обесценила лишь деньги. Так что до автоматического согласия, о котором говорил Фуко, было далеко. Более того, когда он интересуется конкуренцией, то никогда не говорит о том, что она может привести к спорам, например, по поводу заработной платы. А ведь что касается экономической конъюнктуры, важные сомнения возникли уже на следующий день после либерализации цен. Инфляция, которую она вызвала, нанесла удар по покупательной способности наемных работников, и 12 ноября 1948 г. более девяти миллионов немцев прекратили работать на 24 часа по призыву DGB¹⁰, чтобы выразить свой протест против удорожания жизни. Идею вечного консенсуса, следовательно, не могли приветствовать в самый период образования ФРГ. Потом, конечно, хорошие экономические результаты возымели важные политические последствия. Они вызвали сильное коллективное сплочение вокруг модели социального рыночного хозяйства.

Бад-Годесберг и либеральный суверенитет

Важная роль, которую играют аналитические разработки ордолибералов в западногерманской концепции политической легитимности, уже появлялась в анализе Мишеля Фуко, когда он заинтересовался обращением SPD¹¹ к социальному рыночному хозяйству на знаменитом конгрессе в Бад-Годесберге в 1959 г. Фуко начал, дистанцировавшись от классической оценки этих событий в терминах предательства, оценки, которая превалировала в левой и крайне левой среде в тот момент, когда он об этом писал. Эта оценка не видела в оправданиях, которые выдвинула SPD, касающихся возможности «справедливого социального устройства» в рамках социального рыночного хозяйства, ничего, кроме лицемерия, маскирующего свое предательство. Но это не был случаем самого Фуко:

Для того кто слышит те же самые фразы другим ухом, или исходя из другого теоретического «background»¹², эти слова — «справедливое социальное устройство», «условия истинной экономической конкуренции» — звучат иначе, по-

10. Deutscher Gewerkschaftsbund — Немецкое объединение профсоюзов. — *Прим. переводчика.*

11. Sozialdemokratische Partei Deutschlands — Социал-демократическая партия Германии. — *Прим. переводчика.*

12. Непременное условие (лат.) — *Прим. переводчика.*

тому что они указывают на подтягивание к целому доктринальному и программному блоку, который является не просто экономической теорией по поводу пользы свободного рынка. Это подтягивание к чему-то, что является одним типом управительственности и что было как раз средством, благодаря которому немецкая экономика послужила базой для легитимного государства (NBP, 90–91).

Фуко анализирует это подтягивание SPD к неолиберализму в свете анализа, который он только что провел для немецкого федерального государства. Его тезис следующий: ситуация Германии — это перевернутая ситуация, в том смысле, что там «экономика радикальна по отношению к государству, а не государство первично как историко-юридическая рамка к тому или иному экономическому выбору» (NBP, 91). Но если основания политической легитимности нужно искать в правилах той же экономики, т. е. либеральной управительственности, то и принять эту логику — значит, установить условие *sine qua non*¹³ участия в политической игре. Также в Бад-Годесберге для SPD речь шла о том, чтобы согласиться с тем, что уже начало функционировать как немецкий основополагающий политико-экономический консенсус, консенсус экономического роста, для того чтобы включиться в игру управительственности, которая развивалась в Германии с 1948 г. Фуко, впрочем, идет еще дальше в 1979 г., когда французские левые оказались на пороге политической власти, потому что он настаивает на том, что вообще не существует социалистической управительственности (NBP, 93 и 95). Он признает за социализмом «некую историческую рациональность, экономическую рациональность и административную рациональность», но, по его мнению, автономной социалистической управительственности нет. В его глазах, чтобы существовать, социализм вынужден цепляться за разные типы управительственности.

Он пытается перенести эту схему и на Европейский союз. Действительно, там наблюдается то же переворачивание экономики и политики, и даже роль основателя играют денежные законы. Впрочем, как снова показал проект конституционного договора, конкурентная норма играет структурирующую роль, и не только потому, что это экономика, но более всего потому, что это концепция самих политических

13. «Я уже говорил раньше, что нельзя понять возникновение либеральных идеологий и политики в XVIII в., не учитывая, что тот же XVIII в. так мощно требовал свобод, нагруженных дисциплинарными техниками, которые, беря детей, солдат и рабочих там, где они были, значительно ограничивали свободу и при этом давали какие-то гарантии самого использования этой свободы. Что же, сейчас я полагаю, что я ошибался. Я полагаю, что важно совсем другое. То, что эта свобода [...] должна восприниматься внутри мутаций и трансформаций технологий власти. И, более точно, свобода — не что иное, как коррелят возникновения механизмов безопасности» (STP, 50).

институтов. Как писал Фуко о ФРГ, вопрос больше не стоит так: какую свободу государство предоставит экономике? Но: как получается, что экономическая свобода сможет получить функцию и роль государственления, в том смысле, что она сможет эффективно обосновать легитимность государства (НВР, 95–96). В конечном счете либеральная управительственность — это, безусловно, ключевая концепция для рассмотрения европейской ситуации.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ЛИБЕРАЛИЗМА

Это критическое прочтение в целом ряде аспектов неудовлетворительно, потому что остается ощущение, что, может быть, оно не касается самого главного в рассуждениях Фуко. Но основные вопросы, впрочем, бесспорны. Откуда у философа этот интерес к столь специфической форме, каковой является либерализм? Откуда это обращение, в конечном счете мало критичное и поэтому удивительное, от такого мыслителя, как Фуко, к немецким и американским неолибералам? Зачем это исследование, столь опасное, экономики и политики без суверенитета?

Хозяин и власть

В третьей лекции Фуко объясняет аудитории, что после изучения в предшествующих книгах особенностей отношения дисциплинарных механизмов к системе права он намерен во время этого курса подумать о различиях между дисциплиной и предохранительными механизмами безопасности. Цель, которую он указывает, — «оборвать повторяющиеся призывы к хозяину и столь же монотонное утверждение власти» (СТР, 57). Это заявление свидетельствует, во-первых, об осознании ограниченности и недостаточности размышлений о социальном порядке только в терминах дисциплины и ограничений, так как оно не учитывает недавно появившиеся формы управления людьми. Кроме того, в таких размышлениях свобода ошибочно представляется в современном понимании этого слова, которое в ходу с XVIII в., как идеология и универсальная концепция, одно из прав человека, завоевание которого увенчает собой борьбу против дисциплинаризации общества. Свобода, уточняет Фуко, — это другое: это техника власти, отношение между управляющими и управляемыми.

Тут возможны два политических прочтения. Первое, фуколдианское, в узком смысле слова, принимает это утверждение за уведомление. Мы не ошибаемся, действительно, свобода, оставленная народонаселению, используется властью для контроля, и внутри этой свободы существует дисциплина, которую даровала нам современная управительственность. То, что диспозитивы безопасности являются производителями свободы, которую они потребляют, иллюстрируется среди прочего этим базовым доказательством: свободы зависят от власти. Второе

прочтение, наоборот, настаивает на том факте, что управительственность является необходимым защитником свободы, она составляет ту модальность власти, которая заслуживает обдумывания и даже может вызвать некоторую симпатию. Оба прочтения возможны, и также возможно предположить, что Фуко рассматривал и то и другое. Но мыслительная напряженность, которая проходит через оба течения, заставляет нас думать, хотя неопределенность в этом вопросе останется навсегда, что их автор вел поиск во втором направлении.

Указание дается в размышлении, которое он предлагает по поводу государства. Верный своему методу, Фуко отказывается прибегать к общим категориям политической философии. Государство не универсально, оно не имеет сущности: чтобы его понять, нужно «выйти наружу» и оценить его через практики, т. е. через общую технологию власти. И именно для того чтобы избежать риска «онтологического круга», нужно исследовать генеалогию государства, отталкиваясь от истории управительственного интереса (*raison gouvernementale*). Это утверждение имеет лишь видимость чисто методологического. Оно позволяет Фуко начать критику отвергающих государство только под предлогом того, что оно пытается заполучить безграничную власть или что его экспансия исторически необратима. Эта концепция слишком редуционистская, так как она возвращается к тому, чтобы гипостазировать государство, воспринимать его как сущность. Фуко находит истоки этого подхода у немецких либералов первой половины XX в., дискурс которых был перенят много позже и неосознанно критикой левых — гошистов 1970-х гг., которые относили все утверждения роли государства к авторитаризму, т. е. фашизму. Эта позиция неприемлема для Фуко по двум причинам. Первая состоит в том, что вмешательство государства в дела общества изначально лимитировано конфигурацией, предложенной либеральной управительственностью. Вторая такая: его вмешательство необходимо для установления свободы.

Автономия субъекта и либерализм

Подлинной целью Фуко в этом генеалогическом анализе управительственности, без сомнения, является скорее не сама управительственность, а возможная разработка автономии субъекта. Путь, который он выбрал, проходит через либерализм, а точнее через его конкретное проявление, либеральное самоограниченное управление. Эти два направления можно прочесть, как уже было сказано, как попытку установить их основания. Зачем был нужен такой специфический путь? Затем, что Фуко надеялся найти в этой модальности власти лучшие гарантии для сохранения автономии субъекта. Причин тому множество, и они рассеяны по страницам книги и никогда не представлены систематически. Экспериментальный и подготовительный характер такой аргументации не мог не призывать Фуко к осмотристельности.

Первая причина такова, что притязание на научность, которую высказывала политэкономия, впоследствии трансформировало отношение между знанием и властью. Меркантилизм же никогда не претендовал на статус науки и не был связан с государственными интересами, т. е. с тайнами управления, недоступными простым смертным, и поэтому экономическая наука может быть основана или верифицирована любым, даже если он не является правителем, потому что наука по своему определению есть общее знание. Власть, следовательно, не располагает монополией на знание и истину, напротив, требования знания таковы, что они ограничивают изнутри компетенцию власти.

Но главная причина касается зависимости политического от экономического, которую устанавливает самоограниченный либерализм. Ведь примат экономики над политикой, при котором нет нужды обращаться к разрушительному притеснению, — лучшая из возможных гарантий сохранения независимости субъекта. Эта тема возникает в рассуждениях Фуко постепенно, но как только она появляется, то становится все более и более значимой. Основная аргументация опирается на тот факт, что экономика — это дисциплина без обобщений. Фуко находит два принципиальных основания для своего анализа у Хайека и у мыслителей XVIII в. о том, что политэкономия «отвергает [...] паралогизм политического обобщения экономического процесса». Слепение государства, следовательно, заметно, но оно само выбирает эту слепоту не ради каких-либо политических целей, всегда наличествующих, а просто потому, что его понимание экономических феноменов всегда ограничено. Государство не может вмешиваться напрямую и назойливо, и не потому, что у него нет прав или оно связано каким-то договором по этому поводу, а, что более радикально, потому, что оно этого не умеет. Важное следствие из этого, выделенное Фуко в предпоследней лекции, состоит в том, что на коллективное благо не может нацелиться, а еще менее может его заполучить какой-либо агент, в том числе и государство. Это следствие предполагает нависающую позицию, невозможную ни для суверена, ни для какой-либо институции: никто лучше индивида не может понять, каковы его интересы и каково должно быть его поведение. Фуко настаивает на абсолютной радикальности, не подлежащей обсуждению, этой позиции, важность которой объясняется тем фактом, что, согласно его мнению, интерес и своеобычность каждого, возможностями выражения и защиты которых он должен располагать, переводится с поля экономики в поле обычного поведения.

Именно с этой точки зрения его интересуют американские неолибералы. Во-первых, из-за того, что если эти авторы вслед за Хайеком полагали, что любое экономическое обобщение невозможно, они равным образом настаивали на том, что понятийная сетка управления по отношению к индивиду целиком представлена в виде мыслей в терминах затрат и приобретений, т. е. в экономической форме. *Ното*

oeconomicus — термин, к которому Фуко прибегает лишь в самом конце, но который вполне в логике его исследования самоограниченного управления — является уникальным интерфейсом между властью и индивидом. Это, конечно, не означает, что человек сводится лишь к одному своему экономическому измерению, но означает, что это последнее и *только оно* мобилизуется для анализа всех типов поведения. Хорошей иллюстрацией этого является криминалистический анализ. Американские неоллибералы подходят к нему с тем же набором инструментов, который они используют для понимания поведения всех других индивидов («Преступник — не что иное, как абсолютно неважно кто», NBR, 258), потому что понятийная сетка, которую они употребляют, — целиком экономическая, и они анализируют поступки и проявления преступника в терминах подсчета выгоды, т. е. тематик, идентичных тем, к которым они обращаются, когда оценивают рациональность индивида в целом. Где придумать лучшую защиту для идентичности каждого, более уважительное к различиям и самым разным предпочтениям внимание, если не при такой системе, где политика при оценке общества ограничивается экономическим аспектом?

Завершая свои рассуждения, Фуко находит в самом конце в понятии гражданского общества, предложенного Фергюсоном в *An Essay on the history of civil Society* (1762), пропавшее звено между экономикой и политикой. Итак, теперь он может обратиться к первичному вопросу: как управлять обществом, состоящим из экономических субъектов? Фуко видит в работе Фергюсона аналог в сфере политического тому, что предложил несколькими годами позже Адам Смит в сфере экономического. Согласно шотландскому философу, гражданское общество покоится на двух основаниях. Во-первых, оно является продуктом стихийного синтеза индивидов, без отсылок к какому-либо эксплицитному договору или установлению суверенитета через пакт о подчинении. Этот синтез обеспечивается целым комплексом бескорыстных чувств по отношению к другому, такими как симпатия, благожелательность, сострадание (но и любопытство к бедам других), или чувством принадлежности к одному и тому же сообществу. Далее, второе основание таково же, как и в естественном праве, и оно говорит, что власть и господство одних людей над другими — свойство природы, первичное во всех политических институциях. «Система субординации, — говорит Фергюсон, — столь же присуща отдельным людям, как и самому обществу»; и это базовое утверждение, потому что оно позволяет указать на сложности, свойственные теории договора. Именно в рамках гражданского общества учреждается то, что составляет экономические связи. Так разрешаются одновременно и вопрос власти, и вопрос объединения общества, и все благодаря принципу сцепления, результату стихийного совпадения интересов.

Куда вписывается в такой конфигурации государство? Какое место оно может занять перед лицом уже установленного, уже данного об-

щества? Фуко осмотрительно не отвечает на этот вопрос или, более точно, он делает это весьма изощренным способом, отсылая к фразе Томаса Пейна, произнесенной в обращении к американскому народу: «Не следует пугать общество и правительство. Общество — это продукт наших нужд, а правительство — наших слабостей [...] Правительство всего лишь необходимое зло, в худшем же случае его не следует терпеть» (NBP, 313–314).

Лекция Фуко на этом заканчивается. Мысленный эксперимент завершается этим почти полным исключением и власти, и управления. Условия, при которых такой эксперимент может осуществиться, конечно, невероятны: Фуко не воспринимает всерьез экономические измышления Рёнке, Хайека и прочих Беккеров. Но он исследует, бесспорно отдавая себе отчет в ограниченности применения результатов, абстрактные условия, при которых такой либеральный проект может реализоваться.

Эксперимент не остался без последствий — он оставил следы. «Жесткий» либеральный путь непримиримых экономистов ведет к чему-то достаточно милому, тому, что заменяет дисциплинарное общество политикой уважения различий, к чему-то, что невозможно запланировать, даже с чисто теоретической точки зрения. И это уважение к неортодоксальности Фуко, без сомнения, учитывает больше всего прочего в своих политических рассуждениях. На это он намекает в конце лекции 21 марта 1979 г., когда пунктирно описывает перспективы анализа:

В перспективах такого анализа, как этот, видится вовсе не идеал и не проект исчерпывающе дисциплинарного общества, в котором правовая сеть, охватывающая индивидов, будет продолжена и протянута изнутри механизмов, скажем так, нормативных. И это вовсе не то общество, в котором нужен механизм общей нормализации и исключения ненормализуемых. Напротив, в перспективе — образ или идея, или тема-программа общества, в котором будет проведена оптимизация систем различия, в котором будет оставлено свободное поле для колебательных процессов, в котором будет терпимость к индивидам и практикам меньшинств, в котором действие будет проводиться не с игроками, а с правилами игры, и, наконец, в котором вмешательство будет проводиться не во внутренний мир для подчинения индивидов, но во внешний мир (NBP, 265).

Этот великолепный аналитический фрагмент, который резко перемещает из экономической сферы в сферу поведения, в конденсированном виде выражает политическую философию обоих лекционных курсов. Итак, тема оставлена открытой и оставлена не без волнения:

Либерализм всегда предоставлял социалистам заботиться о производстве утопий, и историческая мощь и динамизм социализма многим обязаны именно этой его утопической или утопизирующей деятельности. Что же, либерализму тоже нужна утопия. Нам предстоит сочинить либеральные утопии, нам нужно думать о форме либерализма, а не представлять его как альтернативную технику управления (NBP, 225).

Программный характер последней цитаты резко затушевывается в самой середине лекции, как будто для того, чтобы он был меньше замечен. К чему такая скрытность? Можно ли ее отнести на счет неоспоримой экспериментальной природы размышлений Фуко и того, что их выводы плохо обосновываются? Скорее всего, она объясняется провокативным и иконоборческим характером этих выводов. Либеральный эксперимент Фуко, хотя он и свидетельствует об удивительно свободном разуме, способном освободиться от одной формы мысли, которую он же сам по большей части и установил, может объявить о себе лишь пунктиром.

Перевод с французского Андрея Лазарева